

# СОДЕРЖАНИЕ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

11

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

221

*Моей дочери*

- Что вы всё пишете?
- Описываю предметы, ощущения. Людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения.
- Мир Божий слишком велик, чтобы рассчитывать здесь на успех.
- Знаете, если каждый опишет свою, пусть небольшую, частицу этого мира.. Хотя почему, собственно, небольшую? Всегда ведь найдется тот, чей обзор достаточно широк.
- Например?
- Например, авиатор.

*Разговор в самолете*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**Г**оворил ей: в холода носи шапку, иначе отморозишь уши. Посмотри, говорил, сколько сейчас прохожих без ушей. Она соглашалась, мол, да-да, надо бы, но не носила. Смеялась над шуткой и продолжала ходить без шапки. Такая вот картинка всплыла в памяти, хотя о ком здесь идет речь — ума не приложу.

Или, допустим, вспомнился скандал — безобразный, изнурительный. Непонятно где разыгравшийся. Обидно то, что начиналось общение хорошо, можно сказать, доброжелательно, а потом слово за слово все переругались. Главное, самим же потом стало удивительно — почему, зачем?

Кто-то заметил, что часто так бывает на поминках: часа полтора говорят о том, каким покойник был хорошим человеком. А потом кто-то из пришедших вспоминает, что был покойник, оказывается, не только хорошим. И тут, как по команде, многие начинают высказываться, дополнять — и мало-помалу приходят к выводу, что был он, вообще-то, первостатейным мерзавцем.

Или совсем уж фантазмагория: кому-то дают по голове куском колбасы, и вот этот человек катится по наклонной плоскости, катится и не может остановиться, и от этого качения кружится голова...

Моя голова. Кружится. Лежу на кровати.

Где я?

Шаги.

Вошел неизвестный в белом халате. Стоял, положив руку на губы, смотрел на меня (в дверной щели еще чья-то голова). Я же, в свою очередь, смотрел на него — не открываясь как бы. Из-под неплотно сомкнутых ресниц. Он заметил их дрожание.

— Проснулись?

Я открыл глаза. Приблизившись к моей кровати, неизвестный протянул руку:

— Гейгер. Ваш врач.

Я вытащил из-под одеяла правую руку и почувствовал бережное рукопожатие Гейгера. Так касаются, когда боятся сломать. На мгновение он оглянулся, и дверь захлопнулась. Не отпуская моей руки, Гейгер наклонился ко мне:

— А вы — Иннокентий Петрович Платонов, не так ли?

Я не мог этого подтвердить. Если он так говорит, значит, имеет на то основания. Иннокентий Петрович... Я молча спрятал руку под одеяло.

— Вы ничего не помните? — спросил Гейгер.

Я покачал головой. Иннокентий Петрович Платонов. Респектабельно. Немного, может быть, литературно.

— Помните, как я сейчас подошел к кровати? Как назвал себя?

Зачем он так со мной? Или я действительно совсем плох? Выдержав паузу, говорю скрипуче:

— Помню.

— А до этого?

Я почувствовал, как меня душат слезы. Они вырвались наружу, и я зарыдал. Взяв с прикроватного столика салфетку, Гейгер вытер мне лицо.

— Ну что вы, Иннокентий Петрович. На свете так мало событий, о которых стоит помнить, а вы расстраииваетесь.

— Моя память восстановится?

— Очень на это надеюсь. У вас такой случай, что ничего нельзя утверждать на верное. — Он поставил мне градусник. — Знаете, вы вспоминайте побольше, здесь важно ваше усилие. Нужно, чтобы вы сами всё вспомнили.

Вижу волосы в носу Гейгера. На подбородке царапины после бритья.

Спокойно смотрит на меня. Высокий лоб, прямой нос, пенсне — будто кто-то его нарисовал. Есть лица настолько типичные, что кажутся выдуманными.

— Я попал в аварию?

— Можно сказать и так.

В открытой форточке воздух палаты смешивается с зимним воздухом за окном. Становится мутным, дрожит, плавится, и вертикальная планка рамы сливается со стволом дерева, и ранние сумерки — где-то я уже это видел. И влетающие снежинки видел. Тающие, не долетев до подоконника... Где?

— Я ничего не помню. Только мелочи какие-то — снежинки в больничной форточке, прохлада стекла, если к нему прикоснуться лбом. Событий — не помню.

— Я бы мог вам, конечно, напомнить что-то из происходившего, но жизнь во всей полноте не перекажешь. Из вашей жизни я знаю только самое внешнее: где вы жили, с кем имели дело. При этом мне неизвестна история ваших мыслей, ощущений — понимаете? — Он вытащил у меня из подмышки градусник. — 38,5. Многовато.

Вчера еще не было времени. А сегодня — понедельник. Дело было так. Гейгер принес карандаш и толстую тетрадь. Ушел. Вернулся с подставкой для письма.

— Всё, что произошло за день, записывайте. И всё, что из прошлого вспомните, тоже записывайте. Этот ежедневник — для меня. Я буду видеть, как быстро мы в нашем деле продвигаемся.

— Все мои события пока что связаны с вами. Значит, писать про вас?

— Abgemacht\*. Описывайте и оценивайте меня всесторонне — моя скромная персона потянет за собой другие нити вашего сознания. А круг вашего общения мы будем расширять постепенно.

Гейгер приладил подставку над моим животом. Она печально приподнималась с каждым моим вздохом, словно сама вздыхала. Гейгер поправил. Открыл тетрадь, вставил мне в пальцы карандаш — что, вообще говоря, лишнее. Я хоть и болею (спрашивается — чем?), но руками-ногами двигаю. Что, собственно, записывать — ничего ведь не происходит и ничего не вспоминается.

Тетрадь огромная — хватило бы для романа. Я кручу в руке карандаш. Чем же я все-таки болею? Доктор, я буду жить?

— Доктор, какое сегодня число?

Молчит. Я тоже молчу. Разве я спросил что-то неприличное?

— Давайте так, — произносит наконец Гейгер. — Давайте вы будете указывать только дни недели. Так мы легче поладим со временем.

\* Договорились (нем.).

Гейгер — сама загадочность. Отвечаю:  
— Abgemacht.

Смеется.

А я взял и записал всё — за вчера и за сегодня.

## ВТОРНИК

Сегодня познакомился с сестрой Валентиной. Стройна. Немногословна.

Когда она вошла, прикинулся спящим — это уже входит в привычку. Потом открыл один глаз и спросил:

— Как вас зовут?

— Валентина. Врач сказал, вам нужен покой.

На все дальнейшие вопросы не отвечала. Стоя спиной ко мне, драила шваброй пол. Торжество ритма. Когда наклонялась, чтобы прополоскать в ведре тряпку, под халатом проступало ее белье. Какой уж тут покой...

Шучу. Сил — никаких. Утром мерил температуру — 38,7, Гейгера это беспокоит.

Меня беспокоит, что не получается отличать воспоминания от снов.

Неоднозначные впечатления сегодняшней ночи. Лежу дома с температурой — инфлюэнца. Бабушкина рука прохладна, градусник прохладен. Снежные вихри за окном — заметают дорогу в гимназию, куда я сегодня не пошел. Там, значит, дойдут на перекличке до “П” (скользит по журналу, весь в мелу, палец) и вызовут Платонова.

А Платонова нет, докладывает староста класса, он остался дома в связи с инфлюэнцей, ему, поди, “Робинзона Крузо” читают. В доме, возможно,

слышны ходики. Бабушка, продолжает староста, прижимает к носу пенсне, и глаза ее от стекол велики и выпуклы. Выразительная картинка, соглашается учитель, назовем это апофеозом чтения (оживление в классе).

Суть происходящего, говорит староста, если вкратце, сводится к следующему. Легкомысленный молодой человек отправляется в морское путешествие и терпит кораблекрушение. Его выбрасывает на необитаемый остров, где он остается без средств к существованию, а главное — без людей. Людей нет вообще. Если бы он с самого начала вел себя благо-разумно... Я не знаю, как это выразить, чтобы не впасть в менторский тон. Такая как бы притча о блудном сыне.

На классной доске (вчерашняя арифметика) уравнение, доски пола хранят влагу утренней уборки. Учитель живо представляет себе беспомощное барахтанье Робинзона в его стремлении достичь берега. Увидеть катастрофу в ее истинном размахе ему помогает картина Айвазовского “Девятый вал”. Молчание потрясенного учителя не прерывается ни единым возгласом. За двойными рамами едва слышны колёса экипажей.

Я и сам нередко почитывал “Робинзона Крузо”, но во время болезни не очень-то считаешь. Резь в глазах, строки плывут. Я слежу за бабушкиными губами. Перед тем как перевернуть страницу, она подносит к губам палец. Иногда прихлебывает остывший чай, и тогда на “Робинзона Крузо” летят едва заметные брызги. Иногда — крошки от съеденного между главами сухаря. Выздоровев, я внимательно перелистываю прочитанное и вытряхиваю хлебные частицы, высохшие и сплюсненные.